

УДК 811.161.1

**Дискурсивный анализ причинных версий в мемуарных,  
дневниковых и философских текстах**

**Яценко Т.А.**

*Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского,  
г. Симферополь, Республика Крым  
t-yashchenko@yandex.ua*

*Статья посвящена реализации причинных версий в дискурсах, которые характеризуются наличием внутреннего диалога. Представлена взаимосвязь между дискурсивными особенностями причинных версий и характеристикой русского языкового сознания.*

**Ключевые слова:** *дискурс, каузация, причинная версия, русское языковое сознание.*

Разработка теоретических проблем дискурсивного анализа, в частности, типологии и структуры дискурса, соотношения понятий текста, дискурса и диалога, методологии и приемов дискурсивного анализа, включая анализ языковой личности, носит междисциплинарный характер [7, 9, 6, 12, 10]. Заслуживают также внимания исследования в области функционирования термина *дискурс* в лингвистической науке [5; 4].

В своей работе, вслед за Н.Д. Арутюновой, мы понимаем дискурс как «сквозной текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, психологическими и другими факторами [1].

Исследование причинных версий является одним из аспектов изучения каузации как релятивной мегакатегории, отражающей генетивные связи в мире и языке и включающей категории условия, причины, цели, уступки.

Как было уже показано, каузация реализуется на разных языковых уровнях, но областью ее конвергентного проявления является дискурс, в пределах которого возможно исследование полноты данной категории, отражающей генетические связи в мире и языке. Лингвоконцептологический подход к исследованию причины и цели предполагает выявление ценностной составляющей концептов [Яценко].

Исследованный нами фактический языковой материал убедительно показал, что реальные возможности для выявления именно лингвистического выражения ценностной составляющей культурного концепта открывает анализ модального плана текста. Входящие в модус эмоции и оценки, характерные в первую очередь для художественных, публицистических и мемуарно-дневниковых текстов, могут быть представлены и как психонетический компонент в составе культурного концепта.

*Актуальность* обращения к анализу причинных версий как к одному из наиболее существенных проявлений дискурса обусловлена направленностью дискурсивного анализа на выявление особенностей языкового сознания автора текста.

Основная *цель* работы: выявить специфику отражения причинных версий в русском языковом сознании. Для достижения цели ставятся следующие **задачи**: 1) установить действие определенных лингвистических механизмов выявления ценностной составляющей каузации; 2) показать роль фоновой информации и

прецедентных феноменов в дискурсивном анализе; 3) установить иерархические отношения между причинными версиями; 4) показать особенности взаимодействия причинных и целевых версий.

Известно, что в логике версия (лат. *versio* –оборот, видоизменение; франц. *version* – перевод, истолкование) – это «одно из нескольких возможных, отличных друг от друга объяснений или толкований какого-либо одного и того же факта, явления, события» [8]. Широко используется термин *версия* в юридической практике, где он, помимо других, имеет и чисто причинное значение логического вывода.

Причинные версии связаны и с логическим понятием «частичной, или неполной, причины», которая, в отличие от «полной, или необходимой, причины», всегда и в любых условиях вызывающей свое следствие, «только способствует наступлению своего следствия, и это следствие реализуется лишь в случае объединения частичной причины с другими условиями» [там же, с. 159]. Наличие причинных версий в языке соотносится с логическими понятиями конъюнкции и дизъюнкции.

При исследовании в тексте каузальных версий необходимо обращение к проблемам индивидуального концептуального пространства как важнейшей составляющей семантического пространства текста.

Естественно, что причинные версии являются особым языковым средством организации дискурсов различных типов: научного, политического юридического и, конечно, художественного. Но, на наш взгляд, особого внимания заслуживают мемуарный, дневниковый, эпистолярный и философский дискурсы, так как в них наглядно проявляется соотносительность дискурса с диалогичностью внутренней речи и реализуется понятие «мысленный дискурс». Последнее принадлежит Л.С. Выготскому [3], который, помимо двух фундаментальных разновидностей дискурса – устной и письменной – упоминает еще одну: «мысленную». В этом случае язык также используется коммуникативно, но одно и то же лицо является и говорящим, и адресатом. В силу отсутствия легко наблюдаемых проявлений мысленный дискурс исследован гораздо меньше, чем устный и письменный.

Заметим также, что А. Н. Леонтьев, наряду с терминами «дискурсивная деятельность» дискурсивное (словесно-логическое) познание, «дискурсивный процесс», использует понятие «дискурсивное мышление», характеризуя его как «словесно-логическое», «рассуждающее» мышление, внутренний логический процесс [10, с. 327].

Мысленный дискурс соотносится с понятием «внутренней речи» и «диалогичностью речи» (в широком понимании). Диалогичность понимается как «когнитивная универсалия», которая организует сам процесс понимания и определяет вектор научного знания. Человек постоянно находится в состоянии диалога: реально с окружающими его людьми, с людьми, о которых он думает, реальными и виртуальными, и, наконец, – с самим собой. Диалогичность, естественно, связывается с текстово-дискурсивной категорией антропоцентричности (М.М. Бахтин, И. Т. Касавин, В. В. Красных, Ф. С. Бацевич, Л.Н. Синельникова и др.).

Анализ фактического языкового материала показал, что причинные версии могут быть представлены и как равноправные, и как иерархически расположенные.

Так, в дневниковых текстах Л. Н. Толстого часто встречается оформление однородного ряда причинных объяснений заключением в скобки, подобно вставной конструкции: *У Волконских был неестествен и рассеян и засиделся до часу (рассеянность, желание выказать себя и слабость характера)* (Л.Н. Толстой. Дневники. 24 марта 1850 г.) [13].

В дневниковых записях Л.Н. Толстого отмечены факты, когда взаимодополнительные равноправные причинные версии повторяются дважды, варьируясь в лексико-грамматическом способе представления: *Одна из главных причин ограниченности*

людей нашего интеллигентного мира – это погоня за современностью, старание узнать или хоть иметь понятие о том, что написано в последнее время <...> И эта поспешность и набивание головы современностью, пошлой, запутанной, исключает всякую возможность серьезного, истинного, нужного знания (Л. Н. Толстой. Дневники. 23 окт. 1909 г., т. 20, с. 373) [13].

При иерархическом расположении причинных версий, как правило, отмечается усложненная синтаксическая структура. При этом семантика множества причинных версий на лексическом уровне может быть представлена и метафорически: *Если мы попробуем разложить эту «антибуржуазность» русской интеллигенции, то она окажется **mixtum compositum**, составленным из очень различных элементов. Здесь есть и доля наследственного барства, свободного в ряде поколений от забот о хлебе насущном и вообще от будничной, «мещанской» стороны жизни. Есть значительная доза некультурности, непривычки к упорному, дисциплинированному труду и размеренному укладу жизни, но есть несомненно и некоторая, впрочем, может быть и не столь большая, доза бессознательно – религиозного отращения к духовному мещанству, к «царству от мира сего», к успокоенному самодовольству* (С. Н. Булгаков. Героизм и подвижничество) [2, 33].

В данном случае следствие (антибуржуазность русской интеллигенции) представлено метафорическим образом **mixtum compositum** и, соответственно, причинные версии даются как «элементы»: *доля барства, доза некультурности и т. д.*

В приведенном выше высказывании С. Булгакова отмечается иерархичность причинных версий, связанная, несомненно, с системой ценностей автора: при всей существенности ряда причинных обоснований «антибуржуазности» русской интеллигенции, особое внимание акцентируется на заключительном: *религиозное отращение к духовному мещанству.*

Представление причинных версий, принадлежащих одному субъекту, как иерархически расположенных, как правило, связывается с противительными отношениями, показателем которых является союз НО в пределах синтаксического целого; наиболее значимая причинная версия, с точки зрения автора высказывания, актуализируется позицией конца синтаксического целого: *В этом своеобразном отношении к философии сказала, конечно, вся наша малокультурность, примитивная недифференцированность, слабое сознание безусловной ценности истины и ошибка морального суждения (...) Но сказались тут и задатки черт положительных и ценных – жажда целостного мирозерцания, в котором теория слита в жизнь, жажда веры* (Н. Бердяев. Философская истина и интеллигентская правда) [2, с. 11].

При анализе «пучка» причинных версий обнаруживается связь с «параметром глубины». Исследование важности «параметра глубины» для русского языкового сознания представлено в работах Е. С. Яковлевой [15, 16], где убедительно доказано, что личность может интерпретироваться не только в терминах деятельности и волевого контроля, но и в терминах «созерцательности», рефлексии, **внутренней глубины**. Автор на примере тонкой смысловой дифференциации между *очами и глазами, взором и взглядом* доказывает «релевантность для русского языкового сознания параметра глубины».

Дискурсивный анализ показал, что именно доминирующая причинная версия во многих случаях предстает как «сокрытая» (заметим, что метафоры с семой 'сокрытость' весьма типичны при выражении каузации) [17].

Помимо отмеченных типов противопоставления версий заслуживает внимания наличие противопоставления версий причины версиям цели (и наоборот). Именно такое противопоставление может быть принципиально важным для понимания смысла

высказывания. Это положение убедительно подтверждается фрагментом текста В. Швейцера, представляющим попытку каузального объяснения сложной ситуации: возвращения М. Цветаевой в СССР: *Не удивительно, что и у других Цветаева вызывала раздражение. Я склоняюсь к мысли, что оно связано с самим фактом ее возвращения в Советский Союз. Зачем она приехала? Чего ей там не хватало? Вот ведь и шарфики, и записная книжечка, и сумка «на молнии» (в Москве таких не было) – все парижское... Как можно было вернуться, когда здесь ничего нет и каждый ежедневно ожидает ареста?.. Такие или подобные вопросы должны были возникать в сознании тех, кто встречался с Цветаевой. «Белогвардейка вернулась!», – говорили о ней в писательской среде. На это накладывалась полная бытовая и материальная неустроенность Цветаевой. «Вернулась, а теперь чего-то еще хочет, недовольна ...» – таков мог быть подсознательный подтекст отношения окружающих. Советским людям, дрожащим от страха, неуверенным даже в сегодняшнем дне, должно было казаться странным, непонятным и подозрительным добровольное возвращение в тюрьму. Не стала бы Цветаева объяснять, что вернулась не «зачем», а «потому что» – потому что знала, что должна быть рядом с мужем. Впрочем, и она была не в состоянии по-настоящему понять советских людей, их разделяли протекавшие в разных измерениях 17 лет (В. Швейцер, Быт и бытие Марины Цветаевой) [14, 474].*

Представленный текст насквозь пронизан различными типами каузации. Прежде всего внимание акцентируется на своеобразной аномалии ситуации в восприятии советских людей (нельзя не сказать и об определенной предвзятости оценки В. Швейцера); сама ситуация определяется как *странная, непонятная и подозрительная*. Непонятность ситуации усугубляется контрастом между восприятием аксессуаров прежней парижской жизни М. Цветаевой (шарфики, сумка на молнии) как знаков состоятельной, «устроенной» жизни и нынешней полной «неустроенностью», что провоцирует вопрос: *Чего ей там не хватало?*

Но главный парадокс заключается в «добровольном возвращении в тюрьму». Вполне закономерно возникает еще один вопрос: *Как можно было вернуться, когда здесь ничего нет и каждый ежедневно ожидает ареста?* – Вопрос как? в данном контексте направлен на выяснение именно каузальных обстоятельств (причины или цели), а не образа или способа действия. В связи с этим вторая часть сложноподчиненного вопросительного предложения может быть квалифицирована по своему коммуникативному значению не как условная, а как уступительная: 'Почему (зачем) вернулась, **несмотря на то**, что здесь ничего нет ...?' Соответственно возникает предположение о наличии скрытой цели, что вызывает беспокойство и раздражение: *Зачем она приехала?* Итак, у ряда людей, окружавших Цветаеву в Москве конца тридцатых – начала сороковых годов XX века, складывается версия о скрытой цели ее возвращения.

Автор текста категорически отвергает целевую версию, противопоставляя ей причинную (*вернулась не «зачем», а «потому что»*), опираясь при этом на позицию самой Цветаевой. Можно добавить, что ранее приведены были строки из письма М. Цветаевой А. Тесковой, написанного за пять дней до отъезда: «выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась» (там же, с. 456).

Думается, что в данной ситуации можно говорить и о цели возвращения (так как всякий намеренный поступок обусловлен **мотивацией**, что объединяет причину и цель), а исходя из содержания текста В. Швейцера в целом, а главное – исходя из контекста жизни и творчества М. Цветаевой, можно сказать и о наличии Цели, смыкающейся с Назначением: быть с теми, кому сейчас плохо.

Таким образом, можно еще раз убедиться в том, что каузальные версии в исследуемой нами области (человек и социум) носят субъективный характер, но сам факт их дифференциации и выбора, несомненно, связан с морально-этическим

представлениями и тем самым относится к ценностной составляющей Причины и Цели как культурных концептов.

Очевидно, что к ценностной составляющей также можно отнести включение в процесс выбора версии эмоционально-экспрессивного начала, характеризующего индивидуальную концептосферу.

Развитие различных целевых версий и их взаимодействие с причинными в связанном тексте покажем на примере еще одного фрагмента из книги В. Швейцера «Быт и бытие Марины Цветаевой». Рассуждая о возможных целях издания «Сборника 40-го года», автор выстраивает несколько целевых планов, причем все они даются именно как версии, так как не основываются ни на каких конкретных документах.

Приводятся записи М. Цветаевой, свидетельствующие, с одной стороны, о ее неверии в возможность издания книги, а, с другой стороны, – о наличии чьего-то настоятельного совета сделать сборник: *Вот, составляю книгу, вставляю, проверяю, плачу деньги за перепечатку, опять правлю и – почти уверена, что не возьмут, диву далась бы, если бы взяли. Но – я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась)* (там же, с. 484–485). (Выделение в тексте принадлежит М. Цветаевой).

По предположению В. Швейцера, М. Цветаева «послушалась» Б. Пастернака. Предполагаемые цели издания книги сформулированы в модальном плане возможности, примечательно, что они, названы «резонами» (осложнение причинным значением) и вполне соответствуют интересам поэта и носят прагматический характер: *Кто-то из близких, скорее всего, тот же Пастернак, уговорил ее попытаться издать книгу стихов. Резонов могло быть два, и оба чрезвычайно важные. Во-первых, выход книги явился бы в какой-то мере «свидетельством благонадежности», особенно важным ей как недавней эмигрантке и члену семьи врагов народа. Она понимала, чем такое клеймо грозит ей и, главное, Муру. Второй резон – деньги. Они были нужны, может быть, больше, чем всегда, потому что теперь она одна несла ответственность за жизнь семьи* (там же, с. 485). (Выделение в тексте каузальных конструкций. – Т. Я.).

Но, помимо этого, можно предположить, что существует и более психологически сложное переплетение мотивов: *Хотела ли Цветаева подвести итоги своей тридцатилетней работы? Или показать то, что считала у себя лучшим? Этого мы не знаем...* (там же).

Размышляя над материалами этого сборника, В. Швейцера пишет о двух целях, одновременное достижение которых было невозможно: *...в Цветаевой боролись желание увидеть сборник изданным с равнодушием к этому, потребностью сделать книгу «для себя* (там же). Обратим внимание на соседство слов *желание* и *потребность*. Первое из них традиционно включается в целевую лексику; второе же, думается, в большей мере связано с причиной.

Кстати, дальнейшие рассуждения В. Швейцера по поводу сборника связаны прежде всего с причиной абсолютно бескомпромиссного подбора стихов: *И все же меня тревожит вопрос о составе сборника. Почему Цветаева включила в него именно эти стихи? Почему не постаралась сделать его более «проходимым»? (...) Почему? Точного ответа мы не узнаем, может быть, его не было и у самой Цветаевой. Но не сыграла ли в этом свою роль ощущаемая ею невозможность жить? (...) Перед лицом смерти было нелепо лгать и приспособливаться (...) Сборник еще раз утверждал бескомпромиссность Цветаевой. Не был ли он ее последним вызовом судьбе?* (там же, с. 489–490).

Как видим, автор акцентирует внимание на отсутствии **достоверности** причинных версий, а завершается развитие темы «Сборника 1940-го года» еще одной версией, судя по ее финальной позиции в тексте, – наиболее важной, а может, и наиболее достоверной в восприятии автора, – несмотря на вопросительную форму фразы.

В «желании бросить вызов судьбе» прочитывается прежде всего целевая семантика. (Тема судьбы, столь значимая в творчестве М. Цветаевой, представлена в исследованиях В. А. Масловой, Е. Ю. Муратовой, И.Ю. Белякова, В. Козовой и др. См. глубокое исследование концепта «судьба» в поэзии и прозе М. Цветаевой в работе В. А. Масловой [11].

Считаем возможным предложить и другую версию: не вызов судьбе, а **следование своей судьбе**. Весьма значительной представляется нам фраза из письма А. Тесковой, написанного уже в поезде из Парижа в Гавр по дороге в Советский Союз: *До свиданья! Сейчас уже не тяжело, сейчас уже – судьба* (М. Цветаева. Письма к Анне Тесковой) (Цит. по: [14, с. 457]).

**Выводы:**

– Для исследованных текстов характерно представление «пучка» причинных версий, что свидетельствует о типичном для авторов полифоничном мышлении, склонности к внутреннему диалогу, «мысленному дискурсу». Данное наблюдение значительной мере справедливо и по отношению к характеристике русского языкового сознания в целом.

– При наличии иерархии причинных версий доминирующая версия во многих случаях характеризуется «параметром глубины», что подтверждает релевантность данного параметра для русского языкового сознания.

– Обращение к фактам внеязыковой действительности, «погруженность в жизнь» являются необходимым условием для корректности дискурсивного анализа.

**Список литературы**

1. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Языкознание: Большой энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М., 1998.
2. Вехи: сборник статей о русской интеллигенции Н. А. Бердяева, С.Н.Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве, С. Л. Франка. – Репринтное издание 1909 г. – М.: Изд-во «Новости» (АПН), 1990. – 216 с.
3. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Лабиринт, 1999. 350 с.
4. Горбунова М. В. К истории возникновения термина «дискурс» в лингвистической науке // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 244-247.
5. Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка // Язык. Личность / Отв. ред. В. Н. Топоров. М.: Языки славянских культур, 2005. С. 34-55.
6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И.Карасик. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.
7. Квадратура смысла: Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 1999. 413 с.
8. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник / Н. И. Кондаков. – М.: Наука, 1975. – 720 с.
9. Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике: обзор // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты. М.: ИНИОН РАН, 2000. С. 7-25.
10. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл; Академия, 2010. – 509 с.
11. Маслова В. А. Поэт и культура: концептосфера Марины Цветаевой: учеб. пособие / В. А. Маслова. - М.: Флинта: Наука, 2004-в. - 256 с.
12. Современные теории дискурса: Мультидисциплинарный анализ. Сб. научных статей. – Екатеринбург: Издательский Дом «Дискурс-Пи», 2006. – 177 с.

13. Толстой Л. Н. Собрание сочинений в 20-ти т. / Т. 19. Дневники. 1848 – 1894 гг. – М.: Гослитиздат. – 1965. – 623 с.; т. 20. Дневники. 1895 – 1910 гг. – М.: Гослитиздат, 1965. – 670 с.
14. Швейцер В. А. Быт и бытие Марины Цветаевой / В. А. Швейцер. – М.: Интерпринт, 1992. – 544 с.
15. Яковлева Е. С. О некоторых особенностях концептуализации личностного начала в русской лексике и грамматике // Вестник Московского университета, Сер. 9, Филология. – 1997. – № 3. – С. 96 – 105.
16. Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени и восприятия / Е. С. Яковлева. – М.: Гнозис, 1994. – 344 с.
17. Яценко Т. А. Каузация в русском языковом сознании: монография. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2006. – 478 с.

*Yashchenko T. Discursive analysis of the causal versions of memoirs, diaries, and philosophical texts // Scientific Notes of Taurida V. I. Vernadsky National University. – Series: Philology. Social communications. – 2014. – Vol. 27 (66). No 1.2 – P.104-110*

*The article is devoted to the implementation of the causal versions of discourses, which are characterized by the presence of internal dialogue. Provided the relationship between the discursive features of causal versions and feature of Russian linguistic mentality.*

**Keywords:** *discourse, causation, the causal version, Russian linguistic mentality.*

*Поступила в редакцию 18.11.2014 г.*